



Русский
толстый
журнал как
эстетический
феномен



Последнее обновление: 07.10.2008 / 04:19

[Обратная связь](#)

Все проекты ЖЗ:

Поиск

Опубликовано в
журнале:

[«Вопросы
литературы»
2006, №1](#)

[История идей](#)

[Новые поступления](#)

[Афиша](#)

[Авторы](#)

[Обозрения](#)

Владимир Кантор

Существует ли свободное пространство для русского образованного общества? Ответ Милюкова "Вехам"

[версия для печати \(35646\)](#)

[«](#) [<](#) [—](#) [>](#) [»](#)

Тема интеллигенции в русской мысли поднималась не раз. Не было направления русской мысли (официозного, радикального, религиозного), которое не пыталось бы подмять под себя эту неуловимую общественно-культурную субстанцию. Как правило, нападавшие на интеллигенцию идеологи (революционеры, чиновники, философы, писатели, поэты) сами были выходцами из этого слоя. Но его аморфность, способность принимать самые разные точки зрения, своего рода протеичность при одновременно чрезвычайно высоком нравственном потенциале (который практически всеми оценивался выше, чем у священнослужителей) не могли не раздражать самых разных идеологов, пытавшихся преодолеть свое родовое интеллигентское происхождение. Этот нравственно-взыскующий пафос русской интеллигенции делал охоту за ее душой на протяжении последних двух столетий не только увлекательным занятием, но и почти судьбоносным делом. Напомню слова поэта: «Трижды ругана, трижды воспета. / Вечно в страсти, всегда на краю...» (Наум Коржавин, «Русской интеллигенции»). Строго говоря, русскую культуру и литературу так занимала судьба интеллигенции, поскольку именно в этом слое возникала и существовала русская литература, именно интеллигенты были верными хранителями литературных и духовных смыслов, сформулированных великими русскими писателями.

Р. Иванов-Разумник полагал отличительными чертами русской интеллигенции внеклассовость, внесловность, преемственность и внутреннюю связь поколений (см. его «Историю русской общественной мысли»). Надо сказать, судьба интеллигенции в Советском Союзе, практически уничтоженной в 20—30-е годы, но неожиданно воскресшей в 60-е годы XX столетия, показала известную верность соображений Иванова-Разумника, а также особую специфику этого слоя. Сталин сохранил термин, но отныне интеллигенция понималась в советской стране как некий служилый слой образованных людей на службе науки, производства и идеологии, «категория работников умственного труда» (Г. Федотов). Когда же в хрущевскую оттепель появилось некое пространство свободы, возникла вдруг вновь «та самая» интеллигенция, готовая на самопожертвование во имя идей добра и справедливости, ощутившая свою преемственность с интеллигенцией дореволюционной. Способность возникать там, где есть намек на свободу,

возникать практически из ничего, вновь привлекла внимание к ее судьбе. И опять начались «проклятые вопросы», вновь «принимавшиеся всеми всерьез» (Н. Коржавин), и попытки найти свое собственное пространство в русской истории, осознать свои цели и задачи. Как и на протяжении всей двухсотлетней судьбы интеллигенции, основным стал вопрос о ее вине и долге перед народом. Парадоксальным образом сборник «Вехи», когда-то упрекавший радикальную интеллигенцию в общественном служении и народолюбии, стал едва ли не основным аргументом в доказательстве вины интеллигенции перед народом, который-де она сгубила устроенной ею кровавой революцией.

Опасность такого прочтения «Вех» заметил сразу по выходе сборника П. Милюков. Его ответ заслуживает внимания не только как исторический казус, но и как остающееся актуальным понимание России и роли интеллигенции в ее развитии. Но прежде несколько слов о самих «Вехах».

Вышедший после первой русской революции сборник «Вехи» (1909), выдержавший пять изданий до революции, пережил и второе рождение в 90-е годы XX века, будучи опубликованным после перестройки, когда был прокламирован возврат к дореволюционным ценностям. Уже первая (то есть 1909 года) публикация «Вех» вызвала невероятное количество откликов (как правило, отрицательных) — радикалов, консерваторов, умеренных, черносотенцев, социалистов, монархистов, бундовцев, старообрядцев... Возмущение понятно: сборник не оставлял свободного поля для самореализации интеллигенции как весьма специфического культурно-исторического образования. Крайние радикалы сразу воспользовались выходом сборника, чтоб свести счеты с политическими противниками и лишний раз доказать интеллигенции, что выбор прост: либо революционное понимание жизни и истории, либо религиозное. Скажем, Ленин объявил сборник выражением сути «современного кадетизма»¹ и «вехой» «на пути *полнейшего разрыва* русского кадетизма и русского либерализма вообще с русским освободительным движением»². В 90-е годы сборник тоже не раз был переиздан и назван «неуслышанным предостережением», а известный российский историк философии Пиама Гайденок практически полностью разделила позицию авторов сборника: «Книга “Вехи” оказалась пророческой. Самые худшие опасения ее авторов сбылись. И интеллигенция, и весь народ заплатили дорогой ценой за утопически-максималистскую программу и разрушительные идеи “безответственного равенства”, провозглашенные радикальной интеллигенцией...»³

Разумеется, можно отнести к радикальной интеллигенции и кадетов, которые были в числе лидирующих революционных партий. Не случайно Ленин употреблял по отношению к ним весьма жестокие инвективы — очевидно, что боялся соперников. В сегодняшних интерпретациях сборника, как ни странно, кадетская точка зрения, и в частности признанного кадетского лидера Милюкова, практически не учитывается. Между тем его оценка сборника была из самых трезвых и разумных. Пожалуй, единственный из критиков он пытался не негодовать, не плакать, не смеяться, а понимать.

Конечно, многое в этой книге было угадано и предсказано, с чем Россия столкнулась на своем дальнейшем пути. Пафос «Вех» был в критике российского неумения работать, критике праздности, желания потреблять не давая, уравниловки вместо творчества. Это было выступление против обожествления «общественного

духа», против «отсутствия идеала личности» (причем под *общественным* понималось *преобладание стихии коллективизма* в менталитете русской культуры), утверждение пути религиозного самосотворения личности, создание — на основе православия — этики наподобие протестантской, — короче, были поставлены проблемы нового выбора исторического пути, подобного тому, который когда-то был совершен Петром I. Но путь этот авторами «Вех» строго детерминировался религиозной, точнее сказать, православной парадигмой. Несмотря на постоянные апелляции к народу, вся религиозная мысль после Достоевского видела активное начало послепетровской русской истории прежде всего в интеллигенции. Именно этот момент и артикулировал сборник: не к народу идти, а себя создать должно русское образованное общество, тогда и народу будет хорошо.

Поэтому и причину всех духовных неурядиц России, ее неурядица, революционного брожения и разлада авторы сборника увидели в русской интеллигенции. Суть такого угла зрения пояснил С. Булгаков: «Душа интеллигенции, этого создания Петрова, есть вместе с тем ключ и к грядущим судьбам русской государственности и общественности. Худо ли это или хорошо, но судьбы Петровой России находятся в руках интеллигенции, как бы ни была гонима и преследуема, как бы ни казалась в данный момент слаба и даже бессильна наша интеллигенция. Она есть то прорубленное окно Петром в Европу, через которое входит к нам западный воздух, одновременно и живительный и ядовитый. Ей, этой горсти, принадлежит монополия европейской образованности и просвещения в России, она есть главный его проводник в толщу стомиллионного народа, и если Россия не может обойтись без этого просвещения под угрозой политической и национальной смерти, то как высоко и значительно это историческое призвание интеллигенции, сколь огромна и устрашающа ее историческая ответственность пред будущим нашей страны, как ближайшим, так и отдаленным!»⁴

В советские годы «Вехи» ходили в «самиздате» и способствовали созданию у возродившейся российской интеллигенции очередного комплекса вины. Все постсоветское интеллигентское самобичевание — результат чтения «Вех» и «веховских» авторов. Почти не было советского интеллигента, который не соглашался бы признать тесную взаимосвязь революции и интеллигентского миропонимания. В своей блестящей статье «Двойное сознание интеллигенции и псевдо-культура» (1969), перебрав все грехи прошлого, Владимир Кормер пророчил новые соблазны, которые войдут в Россию через интеллигенцию: «Что же изобретет русская интеллигенция? Чем еще захочет она потешить Дьявола?»⁵ Собственно говоря, шла переоценка позиции интеллигента в России, о которой сразу после Октября один из авторов «Вех», Николай Бердяев, писал: «Русскому интеллигентному обществу, выброшенному за борт жизни в дни торжества его заветных идей и упований, предстоит многое переоценить после пережитых за последнее время катастроф»⁶. В этом самобичевании было много надлома, да и не сложившегося еще, так сказать, результирующего взгляда на процессы русской истории последнего столетия.

В чем же виделась интеллигентская вина? Можно сказать, что в развернутом виде веховские авторы повторили опасение Жозефа де Местра, говорившего, что победоносную революцию в России возглавит Пугачев «из университета»⁷. Предводителем грядущего и, возможно, победоносного разгула русской стихии была объявлена русская интеллигенция, якобы превратившаяся в своего рода

боевой монашеский орден. Вот как оценивал ситуацию Булгаков: «Известная неотмирность, эсхатологическая мечта о Граде Божиим, о грядущем царстве правды (под разными социалистическими псевдонимами) и затем стремление к спасению человечества — если не от греха, то от страданий — составляют, как известно, неизменные и отличительные особенности русской интеллигенции <...> В этом стремлении к Грядущему Граду, перед которым бледнеет земная действительность, интеллигенция сохранила, быть может, в наиболее распознаваемой форме черты утраченной церковности»⁸. Булгаков, однако, резко разделял интеллигентскую псевдоцерковность и подлинное христианское начало, говоря о коренной «противоположности христианского и интеллигентского душевного уклада»⁹. Но вот способен ли этот орден повлиять как-то на народ — отрицательно или тем более положительно? Да и что такое народ? *Каково его отношение к интеллигенции?* Это была проблема, на которую «Вехи» не имели ответа. Более того, она и не была в сборнике поставлена. Хотя когда-то тема «народного бунта», не шадящего никого, а особенно тех, «что в очках», очень занимала умы русских поэтов и мыслителей — и тех, кого «Вехи» отнесли к «интеллигенции», и тех, кого в качестве «свободных умов» вынесли за ее пределы. Любопытно, кстати, что одни и те же персонажи разными авторами «Вех» трактовались по-разному. Так, для Бердяева Радищев — отец русской интеллигенции, а Струве относил Радищева к «Богом упоенным людям»¹⁰, но ни в коем случае не к интеллигентам.

И с удивлением в 1918 году Булгаков замечал устами одного из персонажей своего знаменитого сочинения «На пиру богов»: «Как ни мало было оснований верить грезам о народе-богоносце, все же можно было ожидать, что церковь за тысячелетнее свое существование сумеет себя связать с народной душой и стать для него нужной и дорогой. А ведь оказалось то, что церковь была устранена без борьбы, словно она не дорога и не нужна была народу, и это произошло в деревне даже легче, чем в городе <...> Русский народ вдруг оказался нехристианским»¹¹. Сын священника, большой русский писатель Варлам Шаламов вспоминал: «Поток истинно народных крестьянских страстей бушевал по земле, и не было от него защиты. Именно по духовенству и пришелся самый удар этих прорвавшихся зверских народных страстей»¹². Достоевский задавался вопросом, сможет ли русский человек «черту переступить»? И вот, «переступив черту» христианства, всколыхнулась и пошла гулять по необъятным просторам России российская вольница, российская стихия. О чем говорили «Вехи»? Да о том, что русская интеллигенция не выполняет завещанную ей Петром миссию — воспитания народа. Интеллигенция единственная активная сила в России, а она отказывается сама от себя в своем народолюбии. Постоянно клянясь именем Достоевского, по сути дела авторы сборника противостояли его позиции преклонения перед народом, поставив во главу угла идею личности. Правда, как и Достоевский, они требовали от этой личности вполне определенного поведения. Но как воспитывать стихию?

Освобождение от внешнего гнета мыслилось авторами «Вех» в качестве результата освобождения от внутреннего рабства. Об этом написал в предисловии М. Гершензон: «...внутренняя жизнь личности есть единственная творческая сила человеческого бытия и <...> она, а не самодовлеющие начала политического порядка, является единственно прочным базисом для всякого общественного строительства»¹³. А русская интеллигенция лишена-де этого личностного пафоса, занята общественной борьбой, политикой: этому необходимо противостоять. И в сборнике были сформулированы обвинения против интеллигенции, отчасти

известные из консервативно-реакционной печати прошлого века, отчасти предсказавшие антиинтеллигентские инвективы сталинской эпохи, но и тональность диссидентских упреков интеллигенции, однако уже совсем за другое — за ее нежелание принимать участие в политической борьбе. Моральной поддержки демократического движения казалось уже недостаточным активным борцам с режимом. Начиная от ненависти к образованным слоям Бакунина и Нечаева, презрительного веховского термина «интеллигентщина» и кончая всем известной солженицынской «образованщиной», мы видим претензии самых разных партий и группировок (как левых, так и правых) к интеллигенции. Не забудем и определение В. И. Ленина, назвавшего интеллигенцию «говном». Если Бакунин и Нечаев увидели грех интеллигенции в ее излишней образованности, то уже «веховцы» Франк и Булгаков — во вражде русской интеллигенции к культуре (хотя куда отнести врачей, инженеров, земских работников и прочих героев Чехова?! — Очевидно, что к интеллигенции). А к этому «Вехи» добавили еще критику (следом за Достоевским) за ее как *безрелигиозность*, так и *специфическую религиозность*, *беспочвенность*, но и *нравственный ригоризм*, *антигосударственность*, но и *охранительство*, *политизированность*, наконец, за ее *космополитизм*.

Между тем, как мы знаем, интеллигенция всегда представляла весьма разнообразный спектр точек зрения и позиций, не говоря уж о позиции самих «Вех», сформулированной людьми интеллектуального труда. Все герои классической русской литературы — интеллигенты. Г. Федотов полагал даже, что нравственный пафос русской литературы того же происхождения, что и у русской интеллигенции. «Быть с побежденными — это завет русской интеллигенции»¹⁴, — писал он. Это и дворянские интеллигенты — герои Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Толстого, это разночинная интеллигенция — герои Чернышевского, Достоевского, Чехова, это интеллигенция из народа — герои Бунина, Платонова, Всеволода Иванова. Интеллигенцию критиковали, но никогда не шаржировали, как чиновников, помещиков, купцов и т.д. Рядом с трагическими героями появлялись, разумеется, псевдоинтеллигенты вроде Кукшиной, что только подчеркивало серьезность главных героев. Зато в официально признанной советской литературе, начиная с Мечика из фадеевского «Разгрома», интеллигент — это символ предателя, негодяя и труса. Так и воспитывались подрастающие поколения, пока самые сообразительные не дивились вдруг, как подивился Иван Бездомный: «Надо признаться, что среди интеллигентов тоже попадаются на редкость умные. Этого отрицать нельзя».

Как видим, тема «Вех» одна из болевых тем русской культуры. Но отношение авторов сборника к ней было достаточно двусмысленным. Именно эта двойственность «Вех» (жестокое и мало справедливое инвективы наряду с точными диагнозами общественной ситуации) и вызвала такой невероятный общественный резонанс. Как я уже говорил, наиболее резонной и менее всего учтенной, несмотря на влияние автора, оказалась позиция Павла Милюкова, выступившего против нападок на интеллигенцию и попытавшегося снять с нее ореол исключительности и сатанизма. Историк и политик, он много понял, понял и актуальную позицию «Вех», но сумел оценить ее в реальном историческом контексте. Это тот контекст, которого часто недоставало русской мысли, несмотря на склонность многих русских философов к проблемам историософии. Надо добавить, что шла напряженная общественная борьба, ибо впервые в истории России *практически* решались *политические* вопросы устройства правового государства. Предложение авторов «Вех» отказаться от политики означало, по сути

дела, возвращение в патерналистское, патриархальное, лишенное способности существовать в современной истории общество.

Понять процессы прошлого необходимо для понимания исторических закономерностей, работающих и сегодня. Забегая вперед, замечу самое грустное, что можно вывести из этой полемики, — это способность русской жизни к мимикрии при сохранении своей сущностной основы. В эпоху диссидентского движения интеллигенция испуганно сторонилась всяческой политики, справедливо полагая политику делом не совсем чистым (опыт пошедших во власть интеллектуалов подтвердил эти опасения), но не была создана даже идея политической оппозиции, ибо политика путалась с пребыванием во власти. А всякое политическое движение непременно воспринималось (следом за «Вехами») как стремящееся к захвату безраздельной власти. Между тем политическая оппозиция, общественная свобода, как замечательно написал об этом С. Аверинцев, создает пространство и для внутренней, «тайной свободы». Если говорить о кадетах, то есть либералах западнического толка, то главная их установка была на европеизацию России, понимаемую как фактор, цивилизующий русское общество. Более того, понимая интеллигенцию как реальную — идейную — движущую силу русского общества, Милюков сразу жестко заявил, отказываясь от всяческой идеи об особенностях русского пути: «...эволюция интеллигентского духа в других странах представляет ряд любопытных аналогий с нашей историей»¹⁵. В 1862 году убежденный либерал и западник И. Тургенев писал А. Герцену: «...мы, русские, принадлежим и по языку и по породе к европейской семье, “genus Europaeum” — и, следовательно, по самым неизменным законам физиологии, должны идти по той же дороге»¹⁶.

Но в середине XIX века, опасаясь революционных потрясений, либералы выступали против конституций и политического переустройства общества. Россия казалась им не готовой к политическому представительству, они надеялись на самодержавие как носителя прогресса. В 1862 году, когда наиболее активно шло обсуждение начавшихся и проектируемых реформ, а также общих принципов развития России, один из ведущих идеологов русского либерализма — К. Кавелин, которого, по словам многих исследователей, можно считать предшественником Милюкова, писал: «Там, где, как у нас, царствует глубокое невежество, гражданское и политическое рабство, где честность и справедливость — слова без смысла, где не существует первых зачатков правильной, общественной жизни, даже нет элементарных понятий о правильных гражданских отношениях, — там прежде представительного правления <...> общество должно сперва переродиться, чтоб политические гарантии не обратились в театральные декорации...»¹⁷ Боязнь политики и в самом деле была характерна для русской жизни и русских мыслителей, стремившихся к решению не конкретных, а высших проблем. Эта особенность, как мы видели, возродилась и в 60-е годы XX века.

Вместе с тем введенные в Россию, хотя бы и частично, экономические и социокультурные принципы западной цивилизации требовали создания законов, обеспечивающих права собственности, права личности, создания, по сути дела, гражданского общества, которое, разумеется, было противоположно и противопоставлено принципам российского деспотизма. В значительной степени вынужденные обстоятельствами (поражение в Крымской войне), реформы Александра II двинули страну, казалось бы, в европейском направлении —

постепенном наделении всего народа правами и возможностью иметь собственность. Однако — в каком-то смысле естественное — опасение самодержца дать «слишком много» свобод, тем самым ослабить государственную власть и вновь разбудить стихию, наподобие пугачевской, сдерживало его реформаторские действия — прежде всего конституционные. Возможно, вовремя принятая конституция, включившая все движения и зарождавшиеся партии в легальные рамки, купировала бы радикальные движения, во всяком случае умерила бы призывы к насильственному ниспровержению режима. Ведь стесненные произволом самодержавия радикалы, отнюдь даже не самые кровожадные, вроде, например, П. Лаврова, начинали видеть — вполне всерьез — в разбойничьей пугачевщине прообраз грядущей социальной революции, способной дать свободу России.

При этом либералами предшествующей генерации не учитывался во всем объеме опыт западных стран, где политическое устройство и экономическая система были гарантом, формой, в которую могло вылиться разнообразное социальное содержание. Особенно это было важно для России, где не было «никаких гарантий, — как писал еще Белинский, — для личности, чести и собственности»¹⁸. На рубеже веков, когда противоречие между самодержавным строем и возможностью для России европейского пути обостряется, политическая позиция либерализма резко меняется. «...Политическая реформа должна предшествовать социальной»¹⁹, — утверждал Милюков. Это было принципиальное положение, *кредо*, с которым он выступил на общественную арену. На этом пути либерализм радикализировался, вступал в контакт с теми, кто еще вчера казался главным противником, — с русскими революционерами. Милюков ставил, как основную, задачу «сближения русских либералов с русскими социалистами для достижения общей цели — политической свободы»²⁰. Влияние Милюкова на умы и политическую жизнь страны в первые два десятилетия XX века, его участие в разрушении самодержавного правления, в утверждении в России идей европейского парламентаризма были чрезвычайно велики. Русское общество XIX столетия (и либералы, и народники) было настроено скорее на социальную борьбу, но в начале XX, как замечал Дж. Биллингтон, «благодаря более радикальной программе Милюкова, конституционные демократы преуспели в <...> преодолении индифферентности к политическим реформам, что было характерно для народников»²¹. Стихийным социальным страстям русского общества Милюков пытался придать *европейские формы*. «Русский европеец»²², как называют его западные исследователи, пришел к этой позиции не случайно. Он сумел соединить в себе деятельность представителя либеральной «профессорской культуры» и революционного оппозиционера (достаточно напомнить, что он трижды заключался в тюрьмы).

В лице Милюкова мы сталкиваемся с уникальным явлением, с феноменом своего рода: крупный историк, казалось бы прекрасно разобравшийся в специфике отечественной культуры, в принципах ее исторического бытия, становится практическим деятелем, политиком, пытающимся, опираясь на свое знание России, повлиять на ее развитие в духе своих европейских идеалов, которые ему представлялись осуществимыми. Сам он прекрасно понимал специфику своего подхода к российской действительности: «Я вовсе не стремился превратиться из историка в политика; но так вышло, ибо это стало непреложным требованием времени. Я мог быть доволен тем, что в моем случае наблюдения над жизнью

передовых демократий соединялись с предпосылками, вынесенными из изучения русской истории. Одни указывали цель, другие устанавливали границы возможных достижений»²³.

В споре о роли православной Церкви в русской истории, отвечая Булгакову, Милюков апеллировал и к своей работе ученого, объективного историка, который выше публицистических пристрастий своих оппонентов: «Начало русского религиозного процесса, полного живых зародышей и возможностей, я сам подробно проследил в своей книге²⁴ <...> Но, как известно, все это, и семена, и зародыши, были отмечены официальной церковностью. Русская религиозная жизнь была тщательно стерилизована как раз к тому самому моменту, к которому относится зарождение русской интеллигенции. Конечно, для писателей типа Булгакова все эти указания не имеют значения. Такие писатели могут, вполне признавая низменный уровень церковности данной эпохи, “верить в мистическую жизнь Церкви” <...> Но в этом счастливым положении не может находиться <...> объективный историк...»²⁵.

Быть может, наиболее существенным в «Вехах» показалась ему реанимация славянофильских идей. Сам составитель и издатель сборника Гершензон был несомненным выразителем предреволюционного славянофильства²⁶, сдобренного здоровым западничеством, и все же выступал против рациональных форм жизни, рациональной организации общества. Россия казалась ему хранилищем почвенного антирационализма. И именно рационализм интеллигенции казался ему явлением в каком-то смысле антипочвенным. «...Когда сознание оторвалось от своей почвы, — писал он, — чутье мистического тотчас замирает в нем и Бог постепенно выветривается из всех его идей; его деятельность становится какой-то фантастической игрой, и каждый его расчет тогда неверен и неосуществим в действительности, все равно как если бы архитектор вздумал чертить планы, не считаясь с законами перспективы или со свойствами материи. Именно это случилось с русской интеллигенцией»²⁷. Зато на Западе, по его мнению, возможен мирный исход противоречия между народом и образованным сословием. А Милюков уже в первых своих работах начала 90-х годов достаточно определенно выступил против славянофильства, точнее сказать, он показал неизбежность, как ему казалось, перерастания славянофильской доктрины в откровенный национализм. «Национальная идея старого славянофильства, — писал он в статье «Разложение славянофильства», — лишенная своей гуманитарной подкладки, естественно превратилась в систему *национального эгоизма*, а из последней столь же естественно была выведена теория *реакционного обскурантизма* <...> Наши националисты слишком часто заставляли нас ходить на четвереньках, чтобы мы не казались подражателями двуногих. Нас действительно хотели противопоставить остальным двуногим, как особый “план организации”, чуть ли не как особый зоологический тип»²⁸. Именно поэтому его не могла не покоробить неоднократно заявленная авторами «Вех» ориентация на духовные прозрения раннего славянофильства, выразившаяся в принципиальном отказе от политических форм общественной жизни, в недоверии к такому социальному образованию, каким явилась русская интеллигенция. Объявивший свою партию кадетов продолжательницей «интеллигентских традиций»²⁹, Милюков закономерно принял участие в антивеховском сборнике «Интеллигенция в России».

Его, политика, преданного «идеи сохранения русского парламентаризма»³⁰, возмутило «открытое нападение <...> на политику в сборнике “Вехи” <...> Враждебно относясь к “формализму” строгих парламентарных форм <...> они (то есть авторы «Вех». — В. К.) уже готовились вернуться к очень старой формуле: “не учреждения, а люди”, “не политика, а мораль”. Со времен Карамзина у нас эта подозрительная формула скрывала в себе реакционные настроения»³¹. В чем же, по мысли Милюкова, заключалась эта реакционность? Как казалось Милюкову, отрицание интеллигенции характерно не только для старого славянофильства и молодого черносотенства, но для крайне левых радикальных течений и деятелей (вроде близкого к большевизму Горького), тоже называвших интеллигенцию «отщепенцами», оторвавшимися от жизни, «с краю» которой они «тихонько ползали». Однако он сосредоточивается прежде всего на ответе почвенно и религиозно ориентированном авторам сборника, видевшим «отщепенство» русской интеллигенции в ее отрыве от религиозных верований народа.

Милюков объясняет отрыв интеллигенции от религии низкой степенью религиозности самого народа, прослеживая иные возможности религиозного контакта с народом на примере интеллигенции других стран: «Разрыв интеллигенции с традиционными верованиями массы есть постоянный закон для *всякой* интеллигенции, если только интеллигенция действительно является передовой частью нации, выполняющей принадлежащие ей функции критики и интеллектуальной инициативы. На известной степени рационализации невозможно сохранение доктрины о личной связи индивидуального и космического начала; невозможна и вера в национальную исключительность данной церковности, в единоспасающую религию. На известной степени спиритуализации культа так же неизбежно меняются его внешние формы. Словом, даже оставаясь в пределах *религиозной* эволюции, ни одна интеллигенция не сможет удержаться в рамках конфессиональности и откровенной религии. Возможна символизация старой догмы, эстетизация культа — Плутарх, Шатобриан, Шлейермахер и т.п. Но все это суть средства внешние и временные, которые лишь отдаляют разрыв и делают его менее болезненным. Когда момент разрыва все-таки наступает для отдельной личности или для группы, всякая интеллигенция оказывается в положении Сократа, в положении “отщепенца” своей религии»³². Ему кажется, что там, где масса населения поднялась над уровнем «чистого ритуализма», где «культ спиритуализировался» настолько, что возможны живые и сильные религиозные переживания, — там «разрыв со старой церковностью сохраняет религиозный характер»³³. В этом смысле он не только разделяет мысль Булгакова, но и придает ей универсальный характер. В России, по мысли Милюкова, столкновение интеллигентской мысли с народной традицией имело свой особый характер не потому, что эволюция ее здесь была незаконна или безнравственна, а потому, что «интеллигентское еретичество» застало массу на слишком низком уровне развития. При этом масса, не понимавшая никаких идейных противоборств и столкновений, сумела определить собой основное движение революции 1905 года, так испугавшее веховских авторов. Милюков писал: «Вся “картина” революционного движения последних годов ярко характеризуется тем, что впервые выступили на сцену не кружки, связанные общим уровнем нравственных понятий, привычек, убеждений, прошедшие известную школу общественной и товарищеской дисциплины. На улицу вышли массы, быстро расписавшие себя по политическим партиям и распавшиеся затем на автономные группы, за которыми ни теоретически, ни практически никакой контроль был невозможен»³⁴.

Его основной тезис таков: специфика интеллигенции объясняется спецификой национальной культуры, поэтому обвинения, адресованные интеллигенции, достаточно безосновательны. Более того, «русский европеец» Милюков преодоления общинно-коммунистического пафоса русского крестьянства и православного изоляционизма мог ждать только от интеллигенции. Негодуя на нее, считал он, нельзя забывать, что другой не найти. Он утверждал несомненную связь между ритуализмом массы и практическим атеизмом ее привилегированного сословия, замечая, что слабость правовой идеи в русском обществе, несомненно, отражает фактическое бесправие и анархизм русского населения. Для Милюкова беда русской интеллигенции заключалась не в увлечении политикой, не в политизации, а в *недостаточной* политизации, в ее чудовищно извращенных формах, в поглощении политики стихийной силой, в преобладании над политикой стихийных инстинктов. Это, на его взгляд, проявилось и в интеллигентской духовной нетерпимости самих авторов «Вех», поддержавших одну традицию (если обобщать — православную) духовного развития России и на корню отвергших все иные. Кстати, Ленин в статье о «Вехах» принял *веховский принцип разделения русской культуры*, объявив прогрессивной материалистическую и заклеив религиозную тенденцию. Толерантный Милюков не мог принять подобного отношения к инакомыслию. Он иронизировал, говоря, что, смотря по вкусу, по настроению, по характеру специального интереса, можно протягивать в прошлое сколько угодно нитей.

Стихийный, разрушительный инстинкт толпы можно преодолеть не отказами и запретами на неугодные духовные искания, утверждал лидер кадетской партии, а вовлечением ее в политику, в политические организации, прохождением европейского «политического самообучения». В противном случае, замечал он, требование предварительного воспитания массы звучит насмешкой, очень дешевой и напоминающей требования крепостников, чтобы «души рабов» были непременно раньше освобождены, чем их «тела».

Вот, пожалуй, основные проблемы, по которым возражал Милюков «Вехам», считая, что в своем пафосе отрицания интеллигенции «Вехи» совпадают с той самой разрушительной стихией левого движения, которой они справедливо боятся. «Это — бунт против культуры, — резюмировал он, — протест “мальчика без штанов”, “свободного” и “всечеловеческого”, естественного в своей примитивной беспорядочности, против “мальчика в штанах”, который подчиняется авторитетам <...> Как-то так выходит, что авторы “Вех”, начавши с очевидного намерения одеть русского мальчика в штаны, кончают рассуждениями и даже грешат словоупотреблением — “мальчика без штанов”»³⁵. Беда была в том, что именно бунт против культуры совпадал с умонастроением народной массы. Пугачевский бунт показал, что уничтожались не просто помещики, а просто люди иной культуры, своего рода борьба двух культур, но уж очень кровавая. Очень характерна в этом контексте казнь астронома Ловитца (не помещика, не дворянина), которого Пугачев приказал повесить поближе к звездам. Оптимизм Милюкова был важен для тогдашней попытки цивилизовать Россию, она была действием активного политика, который опирался на свое понимание отечественной культуры, видя в ней возможности иных путей развития.

Как же развернулась история, как она скорректировала этот спор? Под видом следования идеям интеллигенции победил русский бунт во главе с «Пугачевым из университета», собравшим вокруг себя кучку так называемых «малообразованных»

Смердяковых, что так пугали Достоевского³⁶. В результате идеи интеллигенции были забыты, точнее сказать, *перетолкованы*, а сама она либо изгнана, либо уничтожена. Георгий Федотов писал: «Есть взгляд, который делает большевизм самым последовательным выражением русской интеллигенции. Нет ничего более ошибочного. В большевизме, правда, доживает множество отдельных элементов русского радикального сознания, что облегчает темному слою “рабочников просвещения” сотрудничество с ним. Но самая природа большевизма *максимально противоположна* русской интеллигенции: большевизм есть преодоление интеллигенции на путях революции»³⁷. Часть интеллигенции обрела свое инобытие (не менее трагическое, чем в России) на Западе, где проявилась ее истинная роль — быть хранительницей русской свободы и культуры.

Милюкову удалось эмигрировать, избежав той самой народной стихии, которую он пытался перевоспитать парламентским путем. Парадоксальным образом история подтвердила слова Гершензона, писавшего, что народ «ненавидит нас страстно, вероятно с бессознательным мистическим ужасом, тем глубже ненавидит, что мы свои. *Каковы мы есть*, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, — бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной»³⁸. Однако уже в «Переписке из двух углов» Гершензон пошел, по сути дела, на капитуляцию перед народом, чего нельзя сказать о Милюкове, который из эмиграции пытался вести активную борьбу с советским строем. Впрочем, эта неуступчивость была понятна уже из его ответа Гершензону: «Русские интеллигентные отщепенцы довольно благополучно спасались “от ярости народной”, — и совсем не потому, что их защищали штыки, как думает Гершензон, а по другой причине. Они исповедовали свои взгляды в пустыне. Для того чтобы побить своих пророков камнями, народная масса должна, во-первых, слышать их проповедь, а во-вторых, сама относиться иначе к нематериальным ценностям, чем она действительно относилась»³⁹. В этом была права и та и другая сторона: народная масса на самом деле не слышала их проповеди, а если и слышала, то понимала очень по-своему.

Кто же оказался исторически прав в этом споре? Опираясь на опыт Октября, Ф. Степун (сам работавший во Временном правительстве) писал, что либерально-демократическая интеллигенция проиграла, поскольку не учла, что народная масса еще не отказалась от своего религиозного мироощущения, пусть двоеверного, в котором равно присутствовали христианское и языческое начала, но все же далекого пока от рационального понимания жизни. К тому же народная тяга к обрядности, так быстро усвоенная большевиками, тоже сыграла немалую роль в поражении русских европейцев. Большевики победили все остальные группы интеллигенции, поскольку, активно отказываясь от Бога, они все же подошли близко к религиозной проблематике, еще внятной народу. Более того, они приняли и совершенно языческие черты народного мирознания (приняли, скажем, требование народа о вполне языческом сохранении в мавзолее останков Ленина). Штыки, конечно, не очень-то защищали интеллигенцию, оказалось, что их можно повернуть и против интеллигенции. В результате этой победы, строго говоря, в советской ломке были уничтожены и народ, и интеллигенция. Поэтому вывод из этой полемики, на мой взгляд, прост: речь шла не о праве, а о силе, а затем о воле к власти. Этой силой обладала стихия, а отнюдь не интеллигенция, а волей к власти — «Пугачевы из университета», а иногда и из семинарии. Победить эту стихию

было невозможно. Поэтому единственный, пожалуй, выход для носителей сознания и разума был в том, чтобы сохранить свое достоинство и ценности, продолжая поиски пространства для осуществления в стране свободной жизнедеятельности, теряя это пространство и вновь взыскуя его. Что в меру сил интеллигенция и делала.

В русской интеллигенции была выработана формула: «порядочно» или «непорядочно». Так вот, обвинять интеллигенцию в грехах социального жизнеустройства, в грехах пришедшей новой власти, которая часто использует идеи и умонастроения, выработанные интеллигенцией, — непорядочно. Когда-то Достоевский показал, как Смердяков прикрывался идеей Ивана Карамазова для своего вполне меркантильного преступления. Христос не отвечает за костры инквизиции. И даже Маркс не отвечает за деяния практиков — Ленина и Сталина. В пьесе Наума Коржавина «Однажды в двадцатом» выясняется, что профессора Ключицкого считают своим учителем красный комиссар, белый офицер и атаман зеленых. А профессор думает совсем о другом, его идеи никак не связаны с действиями его студентов.

Интересно, что интеллигенцию всегда обвиняли в подготовке революции. В начале прошлого века — в подготовке пролетарской, а сегодня обвиняют в подготовке криминальной революции. При этом заявляя, что интеллигенция забыла народ, рвась к власти и богатству. Как правило, эти инвективы раздаются из уст обеспеченных эмигрантов, шоуменов от культуры. Это интеллигенция-то при богатстве? Может, учителя, профессора, врачи, научные работники, зарплата которых редко переваливает за полторы сотни долларов в месяц? Это они-то выиграли от новой власти? А разве не та часть народа выиграла, которую называют «солнцевскими», «люберецкими» и т.п.? Те авторитеты, которые дорвались до богатства и власти. Или эти авторитеты — интеллигенты? Это те «социально близкие», которых опекал Сталин, первый «бандит», как его называли русские эмигранты, получивший власть в России. Такое было не только в нашем многострадальном отечестве. Тема бандитской группы, ворвавшейся во власть, если вспомним, звучала и в знаменитой пьесе Бертольта Брехта «Карьера Артура Уи».

Пора понять, что интеллигенция не там, где власть. Поскольку в России до сих пор не появилось правовое государство, где политическая деятельность могла бы быть моральной, то человек «интеллигентной профессии», пошедший во власть, перестает быть интеллигентом. Интеллигенция — это не социальная прослойка, это особое духовное состояние, особый тип жизнеповедения. Он может уходить и возвращаться. Так же то появлялись, то исчезали в истории христианские подвижники. Пространство, в котором существует интеллигенция, можно обозначить двумя словами — просвещение и свобода. Все остальное от лукавого.

¹ Ленин В.И. О литературе и искусстве. М.: Художественная литература, 1969. С. 249.

² Там же.

³ Гайденок П. П. «Вехи»: Неуслышанное предостережение // Гайденок П. П.

Владимир Соловьев и философия Серебряного века. М.: Прогресс-Традиция, 2001. С. 434.

⁴ Булгаков С. Н. Героизм и подвижничество (из размышлений о религиозной природе русской интеллигенции) // Вехи. Интеллигенция в России. Сборники статей 1909—1910. М.: Молодая гвардия, 1991. С. 45.

⁵ Корнер В. Двойное сознание интеллигенции и псевдо-культура. М.: Традиция, 1997. С. 243.

⁶ Бердяев Н. А. Духовные основы русской революции. СПб.: РХГИ, 1999. С. 345.

⁷ «...Если явится какой-нибудь университетский Пугачев и станет во главе партии, если весь народ придет в движение и <...> начнет революцию на европейский манер, тогда я не нахожу слов, чтобы выразить все мои на сей счет опасения...» (*Де Местр Жозеф*. Петербургские письма. 1803—1817. СПб.: ИНАПРЕСС, 1995. С. 173).

⁸ Булгаков С.Н. Указ. соч. С. 48.

⁹ Там же. С. 49.

¹⁰ Струве П. Б. Интеллигенция и революция // Вехи. Интеллигенция в России. С. 142.

¹¹ Булгаков С.Н. Соч. в 2 тт. Т. 2. М.: Правда, 1993. С. 609.

¹² Шаламов В. Четвертая Вологда // Шаламов В. Несколько моих жизней. М.: Республика, 1996. С. 346.

¹³ Вехи. Интеллигенция в России. С. 23.

¹⁴ Федотов Г. П. Полн. собр. статей в шести томах. Т. IV. Защита России. Paris: YMKA-PRESS, 1988. С. 60.

¹⁵ Милюков П. Н. Интеллигенция и историческая традиция // Вехи. Интеллигенция в России. С. 297.

¹⁶ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 30 тт. Письма. Т. 5. М.: Наука, 1988. С. 126.

¹⁷ Кавелин К. Д. Наш умственный строй. Статьи по философии русской истории и культуры. М.: Правда, 1989. С. 153.

¹⁸ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. в 12 тт. Т. X. М.: Изд. АН СССР, 1956. С. 213.

¹⁹ *Миллюков П. Н.* Воспоминания в 2 тт. Т. 1. М.: Современник, 1990. С. 266.

²⁰ Там же.

²¹ *Billington J. H.* The Icon and the Axe. An Interpretive History of Russian Culture. N.Y., 1970. P. 453.

²² *Riha Th.* A Russian European: Paul Miliukov in Russian Politics. L., 1969. P. 316.

²³ *Миллюков П.Н.* Воспоминания. Т. 1. С. 265.

²⁴ Речь идет о работе Миллюкова «Очерки по истории русской культуры», которая принесла ему известность и славу. Работа эта начала выходить в 1896 году, многократно переиздавалась, последний раз в эмиграции — в Париже в 1937 году. В постсоветской России переиздана в 4-х томах в 1993—1995 годах. «...Это лучшее произведение Миллюкова, — писал американский историк-славист, — представляет собой дополнение к “Курсу” Ключевского, внося в него размышления о культурном и интеллектуальном развитии <...> в значительной мере отсутствовавшие в “Курсе” Ключевского» (*Эммонс Т.* Ключевский и его ученики // Вопросы истории. 1990. № 10. С. 49).

²⁵ *Миллюков П. Н.* Интеллигенция и историческая традиция. С. 320.

²⁶ «Славянофилы пробовали вразумить нас, но их голос прозвучал в пустыне» (*Гершензон М.О.* Творческое самосознание // Вехи. Интеллигенция в России. С. 98).

²⁷ Там же. С. 95.

²⁸ *Миллюков П. Н.* Из истории русской интеллигенции. СПб.: Изд. товарищества «Знание», 1903. С. 290—291.

²⁹ Конституционно-демократическая партия. Съезд 12—18 октября, 1905. М., 1905. С. 8.

³⁰ *Вандалковская М.Г.* Павел Николаевич Миллюков // *Миллюков П. Н.* Воспоминания. С. 18.

³¹ *Миллюков П.Н.* Там же. С. 265—266.

³² *Миллюков П.Н.* Интеллигенция и историческая традиция. С. 318.

³³ Там же. С. 319.

³⁴ Там же. С. 341.

³⁵ *Милюков П.Н.* Интеллигенция и историческая традиция. С. 380.

³⁶ См. об этом мою статью: Кого и зачем искушал чёрт? (Иван Карамазов: соблазны «русского пути») // Вопросы литературы. 2002. № 2.

³⁷ *Федотов Г. П.* Трагедия интеллигенции// *Федотов Г. П.* Судьба и грехи России. В 2 тт. Т. 1. СПб.: София, 1991. С. 97—98.

³⁸ *Гершензон М. О.* Указ. соч. С. 101.

³⁹ *Милюков П. Н.* Интеллигенция и историческая традиция С. 319—320.



[в начало страницы](#)



© 2001 Журнальный зал в РЖ, "Русский журнал" | Адрес для писем: zhz@russ.ru
По всем вопросам обращаться к [Татьяне Тихоновой](#) и [Сергею Костырко](#) | [О проекте](#)